МАЯКОВСКИЙ

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

1926

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

ПОЭЗИЯ

Асеев, Н. Поэмы. Стр. 87. Ц. 60 к.

Асеев, Н. Совет ветров. Стр. 56. Ц. 40 к.

Безыменский, А. Комсомолия. Страницы эпопеи. Стр. 40. Ц. 50 к.

Безыменский. Городок. Поэма. Стр. 63. Ц. 40 к.

Герасимов, М. Северная весна. Стихи. Кн. третья. Стр. 130. Ц. 1 р.

Герасимов, М. Стихи. Стр. 56.

Доронин, И. Лесное комсомолье. Стр. 86. Ц. 60 к.

Жаров, А. Ледоход. Стихи. Предисл. А. В. Луначарского. Стр. 131. Ц. 1 р.

Инбер, Вера. Цель и путь. Четвертая книга стихов. 1922 — 1924. Стр. 46. Ц. 60 к.

Клычков, С. Гость чудесный. Избранные стихотворения. Стр. 79. Ц. 15 к.

Лелевич, Г. В Смольном. Стихи. Стр. 61. Ц. 50 к.

Орешин, П. Радуга. Стихи. Стр. 238. Ц. 30 к.

Орешин, П. Ржаное солнце. Стихи. Том I. Стр. 224. Ц. 1 р. 20 к.

Радимов, Павел. Деревня. Стихи. Стр. 103. Ц. 1 р.

Тихонов, Ник. Двенадцать баллад. Стр. 34. Ц. 35 к.

Третьяков, С. Итого. Стихи. Стр. 93. Ц. 1 р. 25 к.

Северянин, Игорь. Соловей. Поэма. Стр. 202. Ц. 1 р. 25 к.

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
Getty Research Institute

https://archive.org/details/moeotkrytieameri00maya

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1926 ★ ЛЕНИНГРАД

Главлит 61944
Гиз 16142 Тир. 3000

МЕКСИКА

ДВА СЛОВА

Моя последняя дорога — Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сантназер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гаванна (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Лоредо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливланд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор — вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 ДНЕЙ ОКЕАНА. Океан — дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса, и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида — только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, — и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять пловучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять пловучие губки Саргассова моря, а в редкие торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго, долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люков.

ПАРОХОД «ЭСПАНЬ». 14.000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две

трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да жиденький столбец новостей — сегодняшнее меню и последнее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,
Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники спутников Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гавайских

плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие комми-вояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одессы, всего света, — боксеры, сыщики, негры.

Сами наверх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?» Отсюда подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шопот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись ты, киса́нка моя, заплака́нная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, — надо угадать, кто хлопнул изо всей гурьбы, и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй на третий, а третий — сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевна», — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гаванну пароход оживился. Была дана «Тамбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2.000 франков, — имя это было вывешено на доске об'явлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой, фамилией, тисненой золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих этот спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь, — с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех, — он размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем об'являлось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаванне, а безрукому никто не поможет, — зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо, — даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась потом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаванне. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой-ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаваннца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою...»

ГАВАННА. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, и его надо на шесть дней езды туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвра-

щались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический, это — сплошная вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «виски». Таинственные надписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собствен-

ной головой. Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя — над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым каларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно, поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомесов и Лопесов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организованно. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут, почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и

возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно — название улицы. Только через месяц я узнал, что трафико на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился:

— Ду ю спик инглиш? Парлата эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «Ай эм реша!»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал.

— Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей, — даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов, мексиканец,
вскочить на коня...

К ужину давали незнакомые мне еды – зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго — шарж на банан, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке, — это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой:

— Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел, а вызвал к себе. Пришли, говорит — раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаванне хотели слезть зайцами — оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы — третьи. Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты... Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.

МЕКСИКА. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.

— Где же индейцы? — спросил я соседа.

Это индейцы, — сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павликов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое — красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец в'езжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«В'ехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй — вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно итти и по солнцу, но тогда тихо, тихо — иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот — чтоб наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь, и дела, и встречи, и еда — все под холщевыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди — чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог, — не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог — минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с массой грошевых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики, Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени в 28 лет — 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами

звенят золотым мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знают, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат, хвастается десятью тысячами. А получив на десять, продает ему и аммуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.

Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

— Кин сав, кин сав. Кто знает — кто знает. Может, 30 тысяч, но возможно — и сто.

Войско живет по-древнему, — в палатках со скарбом, с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами — армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки — и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; пхнее дело — всякий отброс.

От'ехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3.000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники. Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапи» — пестрых коврах, прорезанных посредине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят — а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, — странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрашенные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темнозеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я в'ехал в Мехико-сити.

ДИЕГО-ДЕ-РИВЕЙРА встретил меня на вокзале. Поэтому живопись — первое, с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего — один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из культа попадает в монету на-лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

В кактусах.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вмешивая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски) тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

— Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной. Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели, и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Райес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского искусства, это — исход из древнего пестрого грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея — часть, может, еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще неоконченной

работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики.

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его заигрывания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире — предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер Мексики — дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский президент только исполнитель воли се-

Диего Ривейра. Обучение под охраной вооруженного народа.

веро-американского капитала. А поэтому (вывод нетруден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин.

В этот день я обедал у Диего.

Его жена — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие пресные-пресные тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — манго.

Запивается отдающей самогоном дешевой водкой — коньяком-хабанерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовьи на подушке бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочные сведения и о других искусствах.

ПОЭЗИЯ. Ее много. В саду Чапультапеке есть целая аллея поэтов — Кальсада дель поэтос.

Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажке.

Каждый шестой человек — обязательно поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли

что-либо похожее на советские течения — оставались без ответа.

Даже коммунист Гереро, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Крус пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шопотами, и про свою любимую говорят: Ком лео нубио (как нубийский лев).

Причина, я думаю, слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя, — какая же это работа! Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пушкинскую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга о империализме в Соединенных Штатах и возможности об'единения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмкой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна товарищ Гальван. Это — предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ надо бы применить вапповцам и мапповцам — вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже, в 5 рублей ценой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше по наслышке. Сейчас переводятся (!) Лев Толстой, Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока да мой «Левый марш».

ТЕАТР. Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двоилось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцовать крохотные куколки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводил невозможные рулады, и даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики полны были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана», — подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и

грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет и из успеха в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер получасового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды — и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое, самое посещаемое зрелище, это — бой быков.

Огромное стальное строение арены — единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек — тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

ЛОС ОЧОС ТОРОС

(Восемь быков).

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые тореадоры, матадоры и никадоры принимают участие в празднике.

В назначенный час тысячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих «ройльсах», и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерню, публика, — так было в день моего приезда, — ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает брандсбои и начинают окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает, — тогда стреляют в тех же солнечников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-синьоры дают, очевидно, для облагораживающего влияния, подержать им своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой.

Сначала пышный, переливающий блестками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки

любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копья, когда пикадоры обрывают быкам бока и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками — тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог меж человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков, это — то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распростившись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей и едой и лакеями, знаменитый быкобоец, Рудольфо Гоопо, уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика?

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Диэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали. С тех пор прошло много лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканский спекулянт. Новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантесу (копия севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре. Скамейки и низкие стены выстланы плитками, воскрешающими в простеньких лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон и Санчо-Панса стоят по бокам. Никаких изображений усатого или бородатого Сервантеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

ГОРОД Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики — ящиками. Розовые, голу-

Памятник Сервантесу в Мехико-Сити.

бые, зеленые. Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота — внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью, увешенная горшками с ползучими растениями и клетками попугаев.

Целое огромное американское кафе Самборн устроено так: застеклена крыша над двориком вот и все.

Это — испанский тип домов, завезенный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико, — когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город дом-коммуна, тысяч на 40 человек, — от этого ацтекского города не осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики — Кортеса и его эпохи, недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10.000 расставлено по Мексике.

И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама, кафедраля на площади Сокола, до маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей. Она брошена лет двести назад после сражения монахов с кем-то, — вот и стоит дворик, в котором еще и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке, — вернее, в беспорядке, — в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралем для молений пользуются мало, — у кафедраля с одной стороны вход, а с другой четыре выхода на четыре улицы.

Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шоффере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в об'ятие любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.

Это — дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории — дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых почью спит сам торговец.

Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в «пулкерей» — этой своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапи с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с отдышкой, индеец с одутловатым животом. И это — потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами! Это — обобранная американскими цивилизующими империалистами страна, — страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро даже не считалось драгоценным металлом, — страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики во владении американцев и густые железные дороги и промышленность по последнему техническому слову.

А экзотика — на кой она чорт! Лианы, попугаи, тигры и малярия, это — на юге, это — мексиканцам. Что американцам? Тигров, что ли, ловить да стричь шерсть на кисточки для бритья?

Тигры, это — мексиканцам. Им — голодная экзотика.

Самая богатая страна мира, уже посаженная северо-американским империализмом на голодный паек.

Жизнь города начинается поздно, в 8—9 часов.

Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные мастерские, все электрифицированные, со станками для обпиливания и крашенья каблуков, с утюгами для глажения сразу всего костюма. За мастерскими — правительственные учреждения.

Масса такси и частных автомобилей вперемежку с демократическими тряскими грязными автобусами, не комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.

Авто конкурируют с автобусами и авто разных фирм между собой.

Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы.

Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом, а все сообща в'езжают на тротуары, охотясь за необдуманными пешеходами.

Мехико-сити — первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей.

Шоффер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены.

В отличие от врагов мексиканского человечества — автомобилей — трамваи исполняют гуманную роль. Они развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит во-всю с массой звонков, но без остановок.

Своеобразная электрификация смерти!

Сравнительно с Соединенными Штатами народу на улицах мало — домишки маленькие с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 600 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексиканец из электрических лампочек накидывает лассо на коробку папирос. Да все такси украшены изогнувшейся в плавании женщиной реклама купальных костюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, это «барата» — распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее об'являть — без распродажи мексиканца не заставишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет повесил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещевания чересчур натуральных индейцев, вывеску:

В МЕХИКО-СИТИ
БЕЗ ШТАНОВ
ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупающих сувениры сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапи, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисненым ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоящих попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается перед машинными магазинами немцев, бельевыми — французов, мебели — американцев.

Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы.

Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосольством только из любви к его национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно, только с немецкими клеймами, — хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5—6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки — стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие — в чистильню сапог. Длинный магазин

с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит — я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было, — во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафэ да загородные и окраинные подвальные кабачки, — ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Чапультрапек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольтом как штопором. Отшибают бутылочьи горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на пари — тянут жребий, кто кого будет застреливать — вынувший застреливает честно. В саду Чапультрапек стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убий-

ствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением:

«Сегодня убийств не было».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста.

КАПЛЯ ПОЛИТИКИ. Капля — потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств, — все это есть в Мексике, и всего вдоволь.

Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество — мексиканский революционер, это — каждый, кто с оружием в руках свергает власть — какую безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и прочтя его в газете в применении к южно-американской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий — с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания», Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем.

Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Это мирная «рабочая партия», по духу близкая северо-американскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей благородными

речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партии, министра труда Маронеса, которого все журналы рисуют не иначе как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, центре официальной политики, — рабочая же жизнь сконцентрировалась севернее, в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта. Он, как настоящий энтузиаст, рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне.

Товарищ Карпо, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма — и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Гереро — индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Товарищ Морено. Депутат от штата Вера-Круц. Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали „по независящим обстоятельствам“ на американской границе):

„Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше „33“ (калибр кольта)“.

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Товарищ Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала; на полтора миллиона пролетариев — около двух тысяч коммунистов, но

и из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии, — коммунистический орган «Эль Мачете» имеет пятитысячный фактический тираж.

Еще один факт. Товарищ Монсон уже в федеральном сенате стал коммунистом, будучи послан в сенат лабористами штата Сан-Луис Потоси. Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета — он не показывался, занятый делами компартии. Тем не менее, его не могут лишить полномочий благодаря его огромной популярности в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд — об'ясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов, и главным образом в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть не час, так что, когда являлись интервьюеры, президент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа».

Такая быстрая смена об'ясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со Штатами для спешной и покорной проводки какого-нибудь

закона, защищающего американские интересы. С 1824 г. (выбор первого президента Мексики, генерала Гваделупе) за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи тридцать были генералами, а, значит, каждое новое вступление сопровождалось оружием, и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики.

В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не система, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе, — сантиментальный, как и все испанцы, — уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

— Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одного из генералов ясен.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Лоредо. Бланча брал города в компании десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая

тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев.

Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Ларедо, стреляя из кольтов с лодок.

Очнувшийся от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много идей взлетает искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий.

Но одна идея об'единяет всех, это — жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким «гринго», сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории (так что есть города, половина которых мексиканская, вторая — американская), — к американцам, стотридцатимиллионной тушей придавившим двенадцатимиллионный народ.

«Гочупин» и «Гринго» — два высших ругательства в Мексике.

«Гочупин» — это испанец. За 500 лет со времени вторжения Кортеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «гринго» и сейчас звенит, как пощечина (когда врывались в Мексику американские войска они пели:

Грин-гоу
ди рошес ов...

старая солдатская песня, и по первым словам сократилось ругательство).

Случай:

мексиканец на костылях. Идет с женщиной. Женщина — англичанка. Встречный. Смотрит на англичанку и орет:

— Грингоу.

Мексиканец оставил костыли и выхватил кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отождествление понятий — «каждый американец» и «эксплоататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый,
с одним языком.

одной рукой выжимает лимон,
одним запирает замком.

Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевесть ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом.
Несись
по земле
из страны мексиканцев
роднящий крик
«Камарадо».

Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), что́ делать, чтобы свергнутые американские эксплоататоры не заменились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис.
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись.

«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

Пейзаж Мексики.

— Сделаем знамя-арбуз, — решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное, — корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хезус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал:

— Хезус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает: «Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

— Прошу вас сесть в свой автомобиль.

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются:

— Целую следы ваших ног.

Похвалить вещь в чужом доме нельзя, — ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайккисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

НЬЮ-ЙОРК

Нью-Йорк. — Москва, — это в Польше спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет, — отвечал я, — это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда не слыхать про иголки ушки. Иголки ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Лоредо — граница С.-А. С. Ш.

Я долго об'ясняю на ломанейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего в'езда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид?

Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

— Великороссь?

— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять минут:

— На комиссию.

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался эмиграционным полицейским.

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы под'ехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решотками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду из'ясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор. Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение де-

душки; адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался:

— Первый русский за три года. Три года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом (я ему двух дочек в шантан танцовать устроил), говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит, в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меня перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (один доллар — рубашка, один — дружба), — потом, растроганный, повел через весь городок к себе домой и заставил пить теплое виски из единственного стакана для полоскания зубов — пятнистого и разящего одолью.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом — «прогибишен». Потом я вер-

нулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном — с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка — чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

— Испанцы, — укоризненно рекомендует брат. — Из Винницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец, доверились аргентинцу — за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей — и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут — значит, крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря — досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник — честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Лоредо в американский переправить. Возьмут сто, до средины доведут, а потом топят.

Многие прямо на тот свет эмигрировали.

Это последний мексиканский рассказ.

Рассказ брата о брате, мебельщике, первый — американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он узнал по наслышке, что самые красивые женщины — в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибытии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне трое босых собирали окурки, трое голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один (каждый по-очереди), облечшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучие — до собственных башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл в карты некоторую

сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру.

Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки.

Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар, — минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха — свергнута гонщиком в канаву.

В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли, — надбавка 300: 100% на наивность, 100% — на расходы и 100% — спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять некоторую толику — перешли на американскую, всякой наживе покровительствующую сторону.

Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает мыловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас он — уважаемейшее лицо города: он — председатель десятков благо-

творительных обществ, он, когда приезжала Павлова — за один ужин заплатил триста долларов.

— Вот он, — показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его; он продавал свою машину за семь и бросался на эту в двенадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик, — об'яснили мне; — он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет.

В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Лоредо.

Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь, — и все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово — москвич.

Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам, — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже

в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Лоредо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, изумрашенные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках виднелись техасские ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами — гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос» с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и несся опять по правой.

Это — сторожевые пограничные американские аэропланы.

Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.

Могущественные железнодорожные компании даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в Нью-Йорке) воздушным кораблем Шенандоу, когда тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с окрошкой оболочки и стальных троссов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы накануне летающей Америки: Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер, — там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Нью-йоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят крылья, — но цена в 25.000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что, аэропланы взлетали до Сан-Антонио, потом пошли настоящие американские города.

Бок Нью-Йорка.

Мелькнула американская Волга, — Миссисипи, — огорошил вокзал в Сан-Луисе и новью в просветах двадцатиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное рекламное нежалеемое, неэкономное электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми и больше ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я в'езжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучаем трехдневным проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзонову берегу, шагах в двух от воды. По той стороне — другие дороги у самого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических установок, сталелитейных и медикаментных заводов. За час до станции в'езжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши нарастает по этажу. Наконец, дома подымаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет

верхов. От этого становится еще теснее, как будто уже щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза не привыкли видеть такое — тогда остановка — Пенсильвениа-стэшен.

На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Американцы молчат (или, может быть, люди только кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят рупоры и радио о прибытиях и отправлениях.

Электричество еще двоится и троится белыми плитками, выстилавшими безоконные галереи и переходы, прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и никогда не закрывающимися всеми магазинами от мороженых и закусочных до посудных и мебельных.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в какомнибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт Бьюлдинг и у вас совиный характер — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвения — отель,

гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары — все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же сидят какие-то смышленые маменьки с недвусмысленными дочерьми.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте громадного театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок, небо пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющимся электровозом, — и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мель-

кают увитые зеленью решотки просветов аристократической тихой Парк-Авенью. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Приехали.

Над нами ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под нами еще подземное трехэтажие собвея.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил им в пример берлинские загоны, Цо и Фридрих-штрассе.

Не знаю, какие личные счеты у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому

ощущению, нью-йоркские вокзалы один из самых гордых видов мира.

Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы движения двоятся, троятся и десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттон (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, так же по-линеечному ровно режущих Мангеттон поперек от воды к воде. Под навесами, — а в бездождный день просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчикам.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной буб-

лик, который тут же в сотнях экземпляров кидает булкоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала, до зари, — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белый. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими, почти безостановочными, и местными, через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов, — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов, — только грохот поездов по голове, да грохот грузовозов перед носом, — грохот, в котором действительно не разберешь ни слова, и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингвам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятимиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженых, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт, — лампы, отмечающие красным и белым спуск и под'ем.

И если у вас два дела, — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже, — вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут—пересядьте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток, вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами и двадцать тысяч бланков вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете итти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать.

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский!

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать — для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув пять центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей - китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катарры консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно, — они могут и опоздать на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв

успевают сглодать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты и хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещеваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На людней шей пятой авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть-восемь рядов, рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках, и загораются красные.

Тогда машинный и человечий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедля улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, — крыло, так сказать: — на самом деле это — хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решотка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет навкось. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город по-

полам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице угол 5-й авеню, мне нужна 53-я угол 2-й, значит, пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла второй.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвейище (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер, — это, как говорят, американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеваные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающих под ногами в стеклянных окнах тротуаров, свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету и притом у соседа и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, италь-

янских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь, почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем об'еденные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по-щиколку — не образно по-щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта об'явил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних мень-

шевиков) социалистической партии Морис Гилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии, — и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50.000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням из-за паровозов, в'езжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки — зовутся здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул, тюрьмы Синг-Синга. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит, надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы не плохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь, на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам — другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1.700.000 евреев (приблизительно),

1.000.000 итальянцев,
500.000 немцев,
300.000 ирландцев,
300.000 русских,
250.000 негров,
150.000 поляков,
300.000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близ-стоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник,

и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь, как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы, и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокс-троте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается, — так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите, сколько влезет, за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158.000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита, и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь иодом: воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я НЕНАВИЖУ НЬЮ-ЙОРК В ВОСКРЕСЕНЬЕ: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц — не то «Ворлд» не то «Таймса». Час читаются сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское миросозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его и где его дама будет млеть и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и

генеральши Грандт или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингвама и мятую траву.

Кто богаче, уже нагоняют аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет, — и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастия, возможности

познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкат. Еще бы — это сделают за него бесчисленные починочные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

Вообще в спортсменство Америки я не верю.

Спортом занимаются главным образом богатые бездельницы.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.

Хозяин, запасся бутылками матросского «джина», и лимонада «Джиннер Эйл» и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом раз'езжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементами в опере, где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать

все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности кавальдинеров, закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6.000.000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на «Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски, с танцами и

фоном — фотографией острова, чортовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах, и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, человек-птица, женщина на трех ногах и т. п., — существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами, других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне

было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав пред'явления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель, — и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, т.-е., считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне об'яснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас, как настоящего американца, веселого «атта-боя». Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

ЧЕРТЫ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЖИЗНИ ТРУДНЫ

Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, с'едающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых наседок. И до сих пор нью-йоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250.000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства.

А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

Мек моней? (Делаешь деньги?) —

и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

Об вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках — поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1.230.000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все «бизнес» дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, за-

бросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь, — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось об'явление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающих выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

— Дурак!

— Сволочь!

— Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленные американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги не-

доброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формулы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности — мистеру Ригельману надо было хвастнуть перед избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережьи для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги, — больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным досчатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы

так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше, — докажи, и сам хозяин набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кино-звездой Глорией Свансен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем мужем графом, вместе с пакеновскими моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Об'явление в газетах:

ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР
УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ.

12.000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение), по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Марииным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40.000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое в пору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше «фифти-фифти», как говорят американцы — в общем, какая разница?

Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее до-гола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные, сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти Сенчери экспресс».

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О, да! — восклицает посетитель, пред'являя зеленькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату, — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников — армия: один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой, карикатурной иллюстрацией к поло-

жению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря — один за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу — то знайте, — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, — даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями об'ясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу.

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингвам по-шляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это — конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы, — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-

Йорка хорошо помнят ночи осени 1920—1921 года, когда 80.000 безработных спали в Централь-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая — революционный пролетариат — настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции, — такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных — локалы второй, девятый и двадцать второй, — повели долгую борьбу против «вождя», председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была об'явлена «Об'единенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30.000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией — по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый Мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щоденни вісті» (украинская) и финская.

«Дэли Воркерс», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60.000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы — не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений — наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч — тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляется Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.-А. С. Ш. не занимают даже всю Северную — а вот подишь ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же не-

отъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам, и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету — получишь летчиков.

Что Америка и С.-А. Ш. одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце, в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например, Соединенные Штаты Мексики) — образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем не мало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре,

то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии, новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий 20 — и все называются одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, — то все ваше существо организатора будет дважды в день утром и вечером потрясаемо бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают вставленные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, на-

низывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтоб пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, — вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься, — затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и — проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше, европейское деление на купэ даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило, — это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного.

Возможно, что уклончивый ответ об'яснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее — железо. Железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими — и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные — однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет полгорода, кажутся не охраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается, от рваческого, завоевательского характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники, — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решотки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустьи.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности — и дома Америки в общем производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что на вершине огромного дома стоит об'емистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковей-бич (нью-йоркский дачный поселок; пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком корельском портсгаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки, одного названия, одной формы. Дома насажены, как пассажиры вечернего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресенье вечером. Открыв окно уборной, вы видите все, делающееся в соседней уборной, а если у соседа приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке уличек вытянулись, как солдаты на параде – ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шопот влюбленного соседа, но

сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок, — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтоб строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати, тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую, разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посредине стройки подымают фермчатый под'емный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто в насморке вся техника) в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают

стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей садящиеся на место, — только сбей да свинти!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, отношишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатпэтажному Кливлендскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очень тесно (совсем, как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей»...

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей»...

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни, тем более, какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцети и других товарищей) приговариваются к смерти — и целые комитеты, организованные для их спасе-

ния, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан [1]) стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного с'езда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов:

Вельком, Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, попрежнему об'ясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окнами ти-

[1]) Организация американских фашистов.

Бок Питсбурга.

пографии газеты «The Filadelfia Inquirer», выкидывающей ротационками 450.000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализованной, очевидно, для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и более чем странное осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину:

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые худые продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые жирные промакинтошенные полисмены.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров и оповещать нанятых обманным путем.

Бок Питсбурга.

Но останавливаться они не имеют право · остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — на ходу. Своеобразный десятичасовой скороходный рабочий день.

Неменьшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечно, об'единение иностранцев для эксплоатации спекуляции и торговли), — они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый

платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками, — открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надписи:

«Здесь говорят по-английски
и понимают по-американски».

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупослового американца, чем сыпящего словами русского.

Русский называет:

трамвай — стриткарой,
угол — корнером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без меняния пересядок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают помесь из эксцентричных бродяг О. Генри, Ника Картера, с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев кино-студии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который, даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т.-е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров, например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс, и шимми и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity». Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других — работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн об'явил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина, за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает,

экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, — и то не американский, а привозной.

Поэтому духом интересуются мало и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплоатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а сноска и привычка к точному осуществлению намеченного не дает им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Корнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и другими.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Мангеттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами — вещь, еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятелей искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

ЧИКАГО. В 1920 году в выдуманной поэме «150.000.000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квинтет,

одарил ее мощью магической, —
город в ней стоит
на одном винте —
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14.000 улиц,
солнц, площадей, лучи
от каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!

Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Сандбург — сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику, в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн» — этот самый Самборг описывает Чикаго так:

Чикаго.
Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба,
Играющий железными дорогами грузчик
страны,
Бурный хриплый задира.
Город широких плеч...

...Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда, — я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой, это —

высокий, дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой,
Роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строящий, ломающий, восстанавливающий.

Смеющийся бурным, хриплым, задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, производит инструменты, навалливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки.

Путеводители и старожилы говорят:

Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйственных машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре Bush street bridge.

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре - ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу.

Все самое, самое, самое...

Чем же это город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов, — отличен не домами, не людьми, а своей особой, по-чикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.

Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже пятидесятисемиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскребная часть узка, притиснута к берегу громадой фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйственных машин центральней, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр Дам.

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством, — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы в'езжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние, — неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, — стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерьма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луга и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

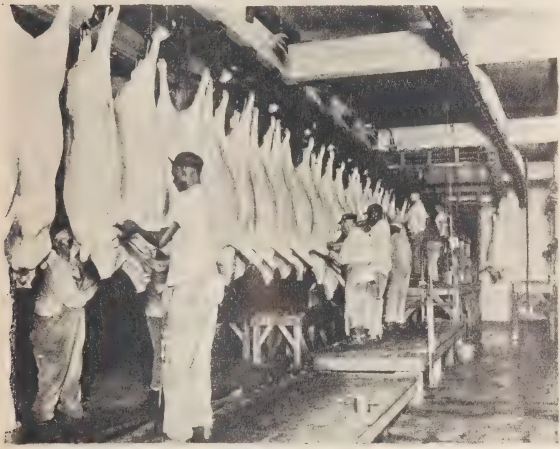
Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за живую ножку, перекиды-

вает их на непрерывную цепь, — они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней



Угол бойни.

в день режет каждый, — хвастался боенский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холо-

дильники — и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками.

Вильсон!
Стар!
Свифт!
Гамонд!
Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно об'единение, один трест. В этом тресте главный — Армор, — судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100.000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность армоpовских богатств. 80.000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катарр.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную уличку Нью-Йорка — Вол-стрит, улицу банков, улицу — фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Вол-стрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту уличку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Вол-стрит — первая столица, столица американских долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свиной бой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго — место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета — «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не Келлоговский дом, что рано или поздно, — а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Чикаго. Общий вид Арморовских боен.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров, — так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго об'явили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонн, Луи Линч и Жорж Энгель — были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показывает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается под'емный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете

в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти — Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие автофонари перекрестков, и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили б стояли в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы, это — в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и непохоже.

Самборг описал и неверно и непохоже.

Я описал неверно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок, — наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

ДЕТРОЙТ — второй и последний американский город, на котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно дороги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый Мир» и «Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Дейтройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, поминающие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе

бойкого предпринимателя-менаджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Мондей-морнинг — опера-клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажем, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы прянули самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины. Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало, — есть у Форда какой-то бессловесный приказ о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например, парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые, — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25—35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо с'ехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль,— то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард,
Кадиляк,
бр. Дейч, вторая в мире — 1.500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7.000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами. Да еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиосборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5 изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... непревзойденная модель автомобиля... последователи Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая, как всякая совершенная система, только и гарантирует лучшую организацию»... и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источник радости (социалист!); если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способ-

ствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал!). «Шеф (Форд) компаньон своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела, — и тогда он кандидат в Форды» и т. д. и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги, — об них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламами, грудами лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих, вид как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний.

Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на кино-с'емках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают в кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шоффер, машина с'езжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже знакомый по кино, — но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, слетающими над головой на цепях под'емных кранов тысячами пудов коленчатых валов мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за

туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».

Вечером мне говорили фордовцы-рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: «Мне не надо, чтоб вы плевались, — мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться — надо вам покупать плевательницы самим».

...Техника — это ему техника, а не нам.

...Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

...На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

...Расчет — без всяких выходных.

...А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

...Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и

убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.

...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день), на самом деле — чистая сдельщина.

...А как с Фордом бороться?

...Сыщики, провокаторы и клановцы, вечу 80% иностранцев.

...Как вести агитацию на 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, — люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев.

В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТ'ЕЗД

Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство о том, что налоги Америке с заработавших в ней внесены и что в страну этот

человек в'ехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет — и я на французской территории, обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компани-нейшенал — нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать влежку все 8 дней.

По приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький — особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при в'езде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бюльдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бенеисон-бюльдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы

подземок закончились пристанью. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них — американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка, провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплытия, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были

уже выпиты. Может быть, этим об'яснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

— регардэ —

даже, кажется, мерси не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали тамболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

ПЕРВОЕ. Футуризм голой техники поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики, — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встают задачи Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут.

С под колес проносящихся элевейторов плюет пыль и, кажется, поезда пересвистывают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить глушители — нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

ВТОРОЕ. Разделение труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим — продадим, хотим — купим. Не согласитесь работать — выждем, забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным — палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанных рабочих, в которых после хорошо сорганизованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц — и грозное слово «депортация» далеко отдаляют какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Разве что откажется от каких-

нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки — для СССР — задача каждого проезжающего Америками.

ТРЕТЬЕ. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги взаймы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый потом до того, что неудивительно, что он вырос и на второй этаж, — этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками

безнадежного буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калеками, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается — «счастье») и мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали моментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги ютились на склоненных с трудом домах. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за сено, даже это веками

обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Мексика	5
Нью-Йорк	51
Америка	99

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

АЛЬМАНАХИ.
СОБРАНИЯ СТИХОВ И ПРОЗЫ.

АБРАМСКИЙ (сост.). Юмористический чтец-декламатор. Печ.

АРСКИЙ, П. 1905 год. Литературно-исторический сборник. Под ред. Ильи Садофьева. Стр. 218. Ц. 1 р.

БОГДАНОВ, Ал. 1905 год в русской художественной литературе. Сборник поэзии и прозы.
Часть первая. Город. Стр. 324. Ц. 2 р.
Часть вторая. Деревня. Стр. 288. Ц. 1 р. 80 к.

КОВШ. Литературно-художественный альманах.
Книга I. Стр. 236. Ц. 2 р.
Книга II. Стр. 228. Ц. 2 р. 20 к.
Книга III. Стр. 247. Ц. 2 р. 20 к.
Книга IV. Печ.

КРАСНАЯ НОВЬ. Литературно-художественный альманах.
Книга I. Стр. 712. Ц. 1 р. 75 к.
Книга II. Стр. 373. Ц. 1 р. 75 к.

МОТЫЛЕВ, И. Е. Хрестоматия избранных отрывков русской литературы. 1917 — 1924 г.г. Стр. 256. Ц. 1 р. 20 к.

НАШИ ДНИ. Художественные альманахи.
№ 1. Стр. 300. Ц. 80 к.
№ 2. Стр. 348. Ц. 75 к.
№ 3. Стр. 344. Ц. 75 к.
№ 4. Стр. 288. Ц. 2 р. 50 к.
№ 5. Стр. 288. Ц. 2 р. 50 к.

НЕВЕРОВ. [illegible] памяти друга и писателя А. С. Неверова от коллектива ра[illegible]че-крестьянских писателей. Стр. 212. Ц. 1 р.

НОВЫЕ БЕРЕГА. Сборник первый. Стр. 240. Ц. 2 р. 25 к.

ПЕРЕВАЛ. Сборник.
№ 1. Стр. 263. Ц. 2 р.
№ 2. Стр. 307. Ц. 2 р. 50 к.
№ 3. Стр. 281. Ц. 2 р. 75 к.

SPECIAL 88-B 27376
GETTY CENTER LIBRARY

1 руб.—Р.

4092/953

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

52445

МАЯКОВСКИЙ, В.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Стр. 94. Ц. 75 к.

ЕГО ЖЕ

ТОЛЬКО НОВОЕ
Стр. 55. Ц. 65 к.

ЕГО ЖЕ

255 СТРАНИЦ
Книга 1-я. Стр. 255. Ц. 60 к.

ЕГО ЖЕ

ПРО ЭТО (ЕЙ И МНЕ)
Стр. 43. Ц. 90 к.

ЕГО ЖЕ

ДЛЯ ГОЛОСА
Конструктор книги Эл. Лисицкий.
Стр. 61. Ц. 1 р. 50 к.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ

В ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСИЗДАТА РСФСР

Москва, Ильинка, Богоявленский, 4. Тел. 1-91-49, 3-71-37 и 5-04-56
Ленинград, «Дом Книги», проспект 25 октября, 28. Тел. 5-34-18
и во все отделения и магазины Госиздата РСФСР

ОТДЕЛ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ГОСИЗДАТА

(Москва, проезд Художественного театра, 6;
Ленинград, проспект Володарского, 51-з;
Харьков, улица Свердлова, 14)

высылает все книги немедленно по получении заказа почтовыми посылками или бандеролью наложенным платежом. При высылке денег вперед (до 1 рубля можно почтовыми марками) пересылка бесплатно.